

# «Третья правда»

Наш собеседник  
**Леонид  
БОРОДИН**



— Леонид Иванович, ваше творчество хорошо знают на Западе, вы — лауреат французской литературной премии «Свобода» и итальянской «Гринзано кавур», однако на Родине вас как писателя узнали совсем недавно. Нет ли у вас ощущения, что вы опоздали к своим читателям на те 20 лет, на которые были отлучены от советских редакций и издательств? Или, возможно, именно сейчас, в нелегкое наше время нужны ваши герои — страждущие, ищущие себя и свою правду?

— Я никогда не переоценивал того влияния, которое оказывает литература на читателя, и не верю, что художественное произведение способно перевернуть чью-то душу, кого-то коренным образом изменить. Это под силу лишь политике или религии. К тому же я всегда трезво оценивал свои литературные способности, не строил далеко идущих творческих планов и относился к писательскому труду скорее как к отдыху. Так что не вижу особой духовной миссии в том, что мои произведения наконец дошли до читателей. Кроме того, сейчас, в наше действительно смутное время, более чем когда-либо понимаешь, что писательство — это твоя прихоть, которую ты хочешь узаконить.

Человек, не принимающий комплекса моих ценностей, даже если ему понравится что-то из написанного мной, все равно останется при своих убеждениях и политических взглядах. Но среди читателей, конечно, найдутся люди со сходными с моими мыслями, ощущениями. Они были 20 лет назад, есть и сейчас.

Если же говорить о каком-то формирующем влиянии литературы, то список писателей ограничится, может, четырьмя русскими именами, двумя французскими, тремя английскими... Из произведений этих авторов складывается нечто, что способно привить человеку хороший вкус, предупредить развитие в нем пошлости, стимулировать творческие способности.

— Однако сейчас вы формируете «портфель» прозы журнала «Москва». Если у вас столь критичный взгляд на роль литературы и ее значение для людей, то по какому принципу отбираются произведения для печати?

— Не могу сказать, что каким-либо образом формирую так называемый «портфель». С удовольствием взял бы все, что хоть немного выходит за рамки повторяющихся сюжетов и образов. К сожалению, в огромном потоке поступающих в редакцию рукописей преобладают произведения комментаторского типа. Допустим, был выдвинут тезис: колхоз плох, жизнь в деревне тяжела. И появляются десятки повестей, написанных с большей или меньшей степенью мастерства, где публицистически комментируется данный факт. А в этих повестях, если старухи — то распухшие, если старики — то беловские.

Информации сейчас у людей хватает, нужны новые исходы мысли, а их нет. Так что, если в «Москве» печатается деревенская проза, то, значит, в ней есть какая-то лирическая струна, как у Чугунова, или что-то очень достоверное, что идет по ценностям публицистики.

Все это относится и к литературе по другим тематикам. Иногда чувствуешь, что автор и письмом владеет, и образ создать может, однако в произведении все сводится к борьбе новаторов с консерваторами. Вот и приходится возвращать рукописи людям, нередко имеющим уже достаточно известные литературные имена, много печатавшимся.

— В настоящее время журналы, как и писатели, разделились на определенные группировки, даже враждующие лагеря. Ваши же произведения, хотя вас не относят к «неприсоединившимся» литераторам, публикуются как в «Юности», так и в «Нашем современнике» — изданиях, занимающих крайние противоположные позиции. Очевидно, если произведение действительно является фактом литературы, то оно выходит за рамки сиюминутных идеологических распр, литературного экстремизма?

— Мне кажется, экстремизм

— не совсем точное слово. В данном случае нет соответствия между крайностью понятия и крайностью действия. В «экстремисты» попадают скорее по темпераменту, чем по характеру убеждения. Я, например, знаю человека, имеющего репутацию явного экстремиста, но в общении с ним не обнаружил принципиальных разногласий во взглядах. Очевидно, экстремизм в литературе — идеологическом противостоянии — это лишь степень активности при отстаивании своих позиций.

Первый мой рассказ, опубликованный в «Юности» в одиннадцатом номере за 1989 год, по тем временам был слишком острым для многих изданий, я вообще сомневался, что его где-либо напечатают. Но в «Юности» решились на публикацию, и все мои вещи, впоследствии напечатанные там, — из тех, что были предложены мной журналу в то время.

Что же касается присоединения — неприсоединения, то к это определяет? Лично я, как мне кажется, никуда не присоединялся, ни к каким литературным группировкам. По-видимому, присоединение происходит со стороны. Тебя зачисляют в присоединившиеся, а те литераторы, кто активно протестует против этого, публично объявляют себя «неприсоединившимися». Хотя я не считаю, что раскол принципиально вреден для литературы. То, что сейчас происходит — это своеобразное безвременье, когда борьба мнений обязательна. Идет подготовка к тому, что наступит завтра, послезавтра и что станет литературным явлением. И все это — отражение процессов, происходящих в обществе.

— Ваши произведения попали в поток так называемой реабилитированной литературы. Однако среди писателей есть люди, прошедшие сталинские лагеря, и есть те, кто был посажен во времена «застоя», кто относится к диссидентам. Весьма различно и их творчество, причем разница не только в художественной индивидуальности. В чем, на ваш взгляд, здесь главная причина — разница во взглядах поколений, иной исторический опыт или что-то иное?

— Конечно, мы — люди разного времени, разных поколений. И если Шаламов, Волков, Солженицын были страдальцами, то мы ими не были. Писатели, попавшие в мясорубку сталинского тоталитарного режима, являлись жертвами, без вины виноватыми. Им ставилось в вину то, чего они никогда не совершали. Мы же действовали осознанно, знали, на что идем и что нам грозит. И в этом — главное наше отличие, что, конечно, повлияло и на творчество.

Однако большая часть писателей, причисляемых сейчас к диссидентам, таковыми по сути не являлась. Диссидентами их сделали на Западе. В свое время они, так сказать, накопили в черновиках массу антисоветских междометий и переоценили их. Затем — выезд за границу, где их приняли с распростертыми объятиями и где можно было без всякого риска говорить все, что вздумается.

Так что «реабилитированная» литература в две категории не укладывается, их по крайней мере три. Хотя для меня совершенно не однозначны, скажем, Синявский и Асенов, Войнович и Максимов. К примеру, Асенов — человек всякого типа. Ему,

по-моему, безразлично, о ком писать — о комсомольцах, добровольцах, фарцовщиках, антисоветчиках. Он обладает большими литературными способностями, которые в равной мере может применять к любой тематике, любому настроению. И делает это вполне грамотно, так что его произведения читают с интересом, так же, как и то, что написано Войновичем. Но этих людей я внутренне не отношу к нашей категории. Исключение составляет Владимов. Он принимал конкретное участие в противостоянии, сознательно шел на какие-то действия. Но если бы ему довелось сесть — он бы не выжил, погиб в камере. Так что для него отъезд — спасение жизни. Для меня же, положим, вопрос таким образом не стоял.

— Зная о вашей судьбе, с некоторым удивлением воспринимаете то, что в повести «Расставание» герой весьма скептически относится к диссидентству. Насколько в его суждениях нашли отражение ваши взгляды?

— Главный герой «Расставания» относится к типу москвичей, которых я хорошо знал и, как мне кажется, хорошо понял. Поэтому он, независимо от моей воли, получился весьма симпатичным. Этот герой высказывает мысли, многие из которых я не разделяю. Возможно, повесть и была столь популярна на Западе, потому что на обложке меня представляли как диссидента, а в произведении давалась несколько иная интерпретация этого явления. Но я покал типичное, распространенное в Москве отношение к диссидентству.

То, что герой высказывает свои суждения, а не мои, подчеркивается уже тем, что речь ведется от первого лица. Хотя, конечно, здесь присутствует обычное лукавство пишущего, когда автор разбрасывает свои взгляды по героям, иногда даже занимающим противоположные позиции, и смотрит, что из этого получится. И я так делаю, когда не совсем уверен в своих взглядах или чувствую, что не прав.

— Значит, вы все-таки не идеализируете диссидентство?

— Все зависит от точки отсчета. Я, допустим, могу быть недоволен своим братом, говорить ему многие неприятные вещи, но если кто-то посторонний будет его ругать — встану на защиту. Так что многое зависит от того, с каких позиций смотреть на диссидентство.

Начнем с того, что диссидентство никогда не было однопольно. В нем сначала наметился, а потом и произошел раскол по тому же принципу, что столетие назад, и сейчас тоже: на западников и — условно — славянофилов. (Но есть некоторые критерии, которые одинаково применимы и к одним, и к другим — соответствие поступков человека его убеждениям). И я могу больше уважать последовательного человека из противоположного лагеря, чем непоследовательного из своего. Хотя сегодня, возможно, правильнее было бы каждого «своего» беречь. Но поскольку вся моя жизнь прошла в условиях противостояния, то и критерии у меня несколько иные.

У меня не было и нет однозначного отношения к диссидентству. Я мог бы назвать десятки имен людей, которые спекулировали своим участием в этом деле, благодаря чему сделали себе карьеру на Запа-

де. Но могу назвать и десятки людей разных направлений — мужественных, последовательных, готовых к самопожертвованию. И не могу их не уважать, потому что в течение жизни эти критерии были для меня существенными.

Для главного героя «Расставания» все мои ценности чужды. И очень явно в нем желание оправдать себя. Это свойственно человеку, понимающему, что он двоедушен, но стремящемуся найти приличное объяснение своим поступкам. Я встречал столь фантастические концепции оправдания своей линии поведения, целые философские трактаты, что только диву даешься такой изобретательности и изощренности человеческого ума.

Один очень мной любимый писатель, отсидевший в сталинское время много лет, на вопрос, почему он не принимал участия в диссидентстве, ответил: «Я считал, что это было несерьезно». В связи с этим я мог бы задать встречный вопрос: «А вступать в Союз писателей было серьезно?». Однако вполне понятно желание человека оправдать самого себя, иначе что, в петлю?

— Диссиденты раньше всех заговорили о кризисе системы, за что и страдали. Сейчас уже разрабатываются государственные антикризисные программы. Однако, как мне кажется, больше внимания уделяется поискам экономических решений, а ведь выполняются эти программы должны людьми. И очень важно, какие это люди, что исповедуют, как относятся к делу. Не кажется ли вам, что сейчас больше внимания надо уделять человеческому фактору? Во всяком случае, ваши герои заняты нравственными поисками.

— Это проблема курицы и яйца. Трудно установить, что в данный момент важнее — экономика или человеческий фактор. Где-то нужны элементарные экономические преобразования, чтобы стимулировать новые идеи, а в другой период важнее провозглашение каких-то идеальных сущностей, которые подтолкнут к решению практических вопросов.

Но самое существенное, на мой взгляд, — отношение человека к России, к государству, то есть те установочные понятия, без которых невозможен выбор правильного пути. К сожалению, вернувшись в 1987 году из «мест, весьма отдаленных», я столкнулся с удивительным для меня явлением — часть интеллигенции, причем людей весьма неглупых, не злодеев, высказывает полное непонимание проблем государства, исторического пути России, желает ее нового распада на мелкие «княжества». Один писатель совершенно искренне говорил мне, что чем на большее количество частей разделится Россия, тем будет больше очагов культуры, а значит, разнообразнее и полнее станет наш вклад в мировую культуру. Странный культ культуры, которая существует сама по себе, неспособность понимать нацию как единый организм, в котором все взаимосвязано.

Часть нашей интеллигенции, что занимается сейчас вопросами теории, на мой взгляд, когда-то вышла из народа, чтобы никогда туда не вернуться. Лет 20 назад Г. Померанц впервые развил концепцию диаспорной психологии: интеллигенция всегда должна чувствовать себя ди-

аспорой в мире. В то же время другой диссидентский писатель высказывался так: «Сегодня вся интеллигенция, как и я, пытается определить себя вне так называемого русского народа». Уверен, что это — смертоносная философия. Считаю, что интеллигенция в равной степени ответственна за все доброе и злое, что происходит в народе, потому что составляет с ним единое целое.

— Однако интеллигенция — понятие весьма расплывчатое.

— Конечно, всегда следует уточнять, как ты понимаешь это слово. Я согласен с Бердяевым, который выделяет две категории интеллигентов. Первые — лучшие люди страны, «духовные сеятель», к которым в равной степени относятся Суворов и Аксаков, — образованный слой, существующий на пользу народу, стране в той степени, в какой они понимают эту пользу в данный исторический период. Значительно позже появилось второе понимание интеллигенции, как некоего клана избранных. По точному определению Федотова, эта часть интеллигенции характеризуется идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей. Возможно, и сейчас именно она ходит во «властителях дум».

— Судя по нашему разговору, вы относитесь к числу людей последовательных, верных своим убеждениям. Вы нашли свою правду, но многие, подобно Селиванову из повести «Третья правда», ищут свою — четвертую, пятую... Вы действительно полагаете, что правда не является чем-то однозначным?

— Вспомните, у Достоевского есть правда — справедливость и правда — истина. У каждого человека — своя правда, при условии, что он искренен. И в повести третья правда — не панacea, хотя на Западе во многих рецензиях именно так была понята. В первом варианте название стояло в кавычках, это «Посев» их снял. Селиванов, нашедший третью правду «промеж белыми и красными», — отнюдь не счастличик, ощущает такой же дискомфорт, как и все другие. Так что каждый волен искать свою правду.

— Многие полагают, что нашли ее — единственную, истинную — и навязывают свою правду другим.

— Сейчас ситуация гораздо сложнее и опаснее. По-моему, уже не мечтают привести других к своей правде, а стремятся уничтожить или хотя бы подавить правду противника. И среди своих единомышленников, к сожалению, порой я обнаруживаю нарастающую ярость, готовность использовать какие угодно силы, чтобы расправиться с противоположной стороной. При этом не заметна готовность к самопожертвованию, и это самое тревожное, потому что без личной готовности к жертве формируются типы политических интриганов, а не общественных и государственных деятелей, способных к позитивному социальному действию.

— В чем же вы видите исход?

— Наш народ всегда жил верой в то, что Россия все равно выстоит, встанет из любых руин. 10 лет назад, казалось, не было никакой надежды на какие-то положительные сдвиги, но в глубине души, я думаю, у каждого жила вера, иначе не было бы главной побуждающей силы для какого-то действия, элементарного противостояния.

В настоящее время я черпаю веру в историю. Весьма детально изучив по первоисточникам эпоху Смутного времени, узнаю в прошлом многие моменты настоящего. Особенно сходно нравственно — психологическое состояние народа, и чем больше узнаваемо прошлое, тем становится спокойнее — возникает уверенность, что в конце концов появятся новые Минин и Пожарский. Конечно, это не серьезно, никакой политик или историк не может позволить себе подобного отношения к прошлому и настоящему, но я ни тот, ни другой. И могу позволить себе быть иррациональным — жить верой.

Беседу вел  
**Л. ФОМИНА.**